

Независимая газ. - 1996 - 27 февр. - 97

Дмитрий Бавильский

Рефлексия

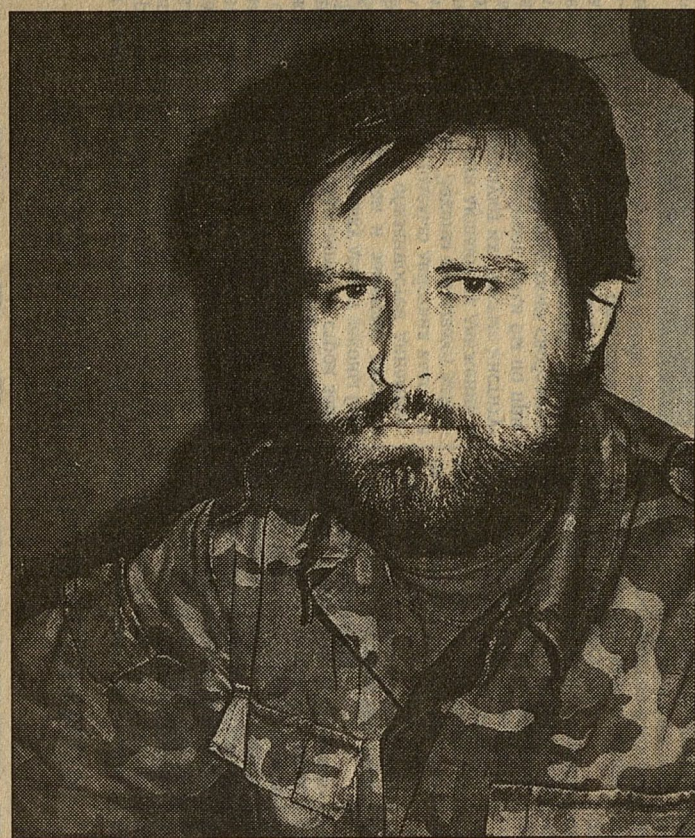
ОЛЕГ, расскажи о своем особом эстетическом идеале и своем толковании «реализма».

— Реализм важен был мне, да и многим, как идея. Нужно было что-то противопоставить подменам, возникшим в ходе пропагандного просвещения, — за что-то зацепиться, с чем-то стоять. И потому духовная, художественная его ценность была осознана так остро, так глубоко. Но при этом «вдумывании» и «вживлении» искреннем в реализм обнаружилось, что все имеет другой смысл. Я читал «Пустозерскую прозу» и не понимал общепринятого, белкинского отсчета от «Капитанской дочки» и «Повестей Белкина». Я вдруг открыл для себя огромную пропасть, которая в русском самосознании лежит между понятиями «реальность» и «действительность». Реализма потому и не было, что русское искусство никогда реальности не изображало. Но есть «метафизика» Пушкина, «действительное» Достоевского, «дух истины» Толстого, «вещество существования» Платонова — есть некая высвобожденная энергетическая сила!

— Так существует реализм или нет?

— Предметом русской литературы была действительность, а не реальность, — это то, что включает в себя реальный мир, но и духовный. Мир наших страстей, чувств, веры. Что может быть сильнее видения Аввакума, которому привиделся Ангел, спустившийся к нему в земляную тюрьму? Ангел приносит проропопу щец. Аввакум гово-

Олег Павлов (р. 1970) окончил заочное отделение Литературного института имени Горького (семинар Николая Евдокимова). Про Павлова можно было бы сказать, что он ворвался в литературу, не сделав он этого спокойно и как-то сосредоточенно. Финал «Букера-95», засветивший Павлова «широкой общественности» (вошел в тройку финалистов), лишь подтвердил неофициальный статус печатающегося в течение 10 лет прозаика. Основные публикации: повествования в рассказах «Караульная элегия» («Литературное обозрение», 1990, № 8), «Записки из-под сапога» («Согласие», 1991, № 6) и поэтическая, по авторскому определению, повесть «Казенная сказка» («Новый мир», 1994, № 10). Сейчас работает над циклом «Соборные рассказы» — рассказ «Митина каша» опубликован в «Новом мире» (1995, № 10), а в мартовском номере «Октября» выйдет новый рассказ этого цикла — «Конец века». Свою миссию в литературе воспринимает предельно серьезно и ответственно.



С ЯЗЫКОМ БЕЗ ЯЗЫКА

Олег Павлов боялся, что ему присудят «Букера»

рит, что щи были zelo вкусными, он их изволил-то откушать! С точки зрения реальности этого не может быть. Но это действительно, потому что он вложил в этот образ невероятную силу прозрения, энергию веры. Действительность превращается этой силой и энергией веры в реальность. Реализм — в реалистический дух. Литература — в духовную прозу. У нас плодovitа беллетристика, плодovitа светская литература, а прозы такой — крупницы, как золота... Но так и всегда было. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков — одни-единственные. Бунин. Шмелев мой любимый, Зайцев. Это духовная проза, духовные писатели XX века, заточенные в своем времени, мучившиеся за всех и за всё. Дальше — обрыв истории и утрата национальной сущности, пропасть и пустота, какие были и перед явлением Пушкина. И является из глубины народа, из его души Андрей Платонов — художник, гений, который, подобно Пушкину, всё из небытия воскресил, осмыслил.

— Как с учетом всей этой ретроспективы выглядит твой писательский опыт и творчество близких тебе прозаиков? Можно ли вас всех условно назвать «метафизическими писателями»?

— Метафизическая — это прежде всего трагическая проза. Русская проза насквозь трагична, ибо трагичны та душа, тот разум, который перешагнул этот предел: жизнь вне границ жизни. Историзм и народность нашей литературы относятся к действительности. Историзм — это непрерывное движение во времени, метафизика, облаченная в событие. А народность — это дух. В современной прозе вижу движение, которое пока только начинается. Есть какие-то опыты, включая и мой, очень разрозненные, но нет понимания главных вещей. Поэтому сейчас главной постепенно становится беллетристика. Иначе сказать, «Знамя» становится главней «Нового мира» — это уже и лучший журнал года, и образец.

— Что же тогда главное?

— Главное — вопрос о началах жизни. Для нашей литературы вопрос о начале жизни, библейский по существу, оживает, когда заканчивается, обрывается одна история и начинается другая. Перед таким вопросом, перед концом истории, стоял в своем XVII веке Аввакум. В XIX — Пушкин. В XX — Платонов. И после сталинского истребления народа — Солженицын. Вопрос о смысле жизни — тема уже для эпической литературы, беллетристика его решить не сможет. Как начинать жить? Что есть теперь добро и зло? Нужно привести всё в равновесие, побороть абсурд и хаос жизни, лишаящий смысла жить, и обрести заново понятие и образ мира Божьего, осмысленного. Так встает вопрос об эпической литературе. Или вопрос о языке, из которого рождается и силой которого воздвигается эпос. Для меня это очень напряженный вопрос. Новая жизнь еще не осмыслена, не понята. И непонятость начинает все разрушать, тут же начинает плодиться покрисному пошлость, произрастает чертополох временного и временничко. Поэтому всё, где есть хоть крупницы эпической прозы, оказывается для

меня важным. В очерках такого времени, в русском народном рассказе и рождается гул народной речи. Гул, постепенно и не у каждого превращающийся в язык...

— А твои современники слышат этот гул?

— Мы все начинали с рассказов, которые по сути были очерками: Ермаков, Алешковский, Отрошенко, Терехов, Варламов, я тоже. Думаю, богаче всех был Александр Терехов, когда писал в «Огоньке», но не смог своего редкого дара осознать, почти его утратил. Из «Афганских рассказов» вышла эпическая проза у Ермакова, равно как у Петра Алешковского из «Старгорода» выросло «Жизнеописание Хорька», «таежную» часть которого я особенно люблю. Может и должен писать в «Новом мире» эпическую прозу Михаил Бутов, но его рассказ «Известь» (хоть, по мне, это маленькая повесть) не имеет сильного продолжения... Важнее же всего для меня было открытие Марка Кострова с его «Записками болотного жителя», «Дульными тормозами», что публиковались в «Новом мире» по разделу публицистики, но продолжили тот главный путь русской прозы, который, после Платонова, не осилил до конца Солженицын, отказавшись воспринять современность, точнее сказать — действительность. И если ты читаешь «Казенную сказку», то видишь силу языка. Силу не стили, но органической языковой массы. Помнишь, Мандельштам писал в «Слове и культуре», что русский язык и есть русская история? Пока у нас есть язык, существует и наша история. Кажется, это какой-то выверт, а на самом деле всё так. Когда история обрывается и начинается время неосознанной жизни, язык становится самым сознательным явлением. Можно сказать, что и меняются не жизнь, но сам язык — атомы жизни. Так вот, в современности нельзя допустить распада этих атомов, то есть ураты скрепляющей их силы, национальной сущности. Но возникает и вторая сложность, которую можно назвать *вопросом о Платонове*. Как вопрос о Пушкине после Пушкина. Нужно, с одной стороны, не допустить распада языка, а с другой — преодолеть инерцию платоновского стиля, то есть после Платонова смочь как бы не повториться, что требует и сверхчеловеческой творческой — он исчерпал почти все смыслы и глубины языка.

— Ты много говоришь об эпосе, но ничего — о своем интересе к жанру рассказа. Между тем я давно наблюдаю твои попытки «возрождения» этого жанра.

— Я вышел на форму эпической прозы в рассказе. Мой рассказ на самом деле — не рассказ, но новая повесть. Я называю это соборным рассказом. Где много героев, полифония и большая, именно «главная» цель. У «Митиной каши» тяжелейший замысел — найти выход из состояния смерти. Вот писали о «Митиной каше» как о несамодостаточной попытке создания малого эпоса. Мол, тогда умирает роман, получается его фрагмент, лучше бы Павлов не расстривался... Но «Казенная сказка», замешанная на языке, это ведь антироман, как и антироманна вся литература нового времени. Эпическая лите-

ратура народного начала никак в роман не укладывается, но, напротив, только его рушит. Роман держится на стиле, когда вопрос о языке уже решен. Если роман пишется формально, то вырождается в беллетристику. О несостоятельности романной формы писал уже Варлам Шаламов, говоря, что к ней нет «доверия». Да и проза Солженицына, будь то «ГУЛАГ», «Матренин двор» или «Красное колесо», есть лирико-эпическая проза, новаторская по своему существу и идущая вразрез со старой «романной» литературой.

— Читай «Казенную сказку», обращаешь внимание на необычность жанрового образования. Хотя может статься, что жанры и объемы современных текстов зависят и от журнальной надобности.

— Я принес в «Новый мир» 500-страничную бесконечную рукопись, так что потребность журнала в ее сокращении совпала и с моей — высечь из этой глыбы ту форму, которая уже дышала в ней, как бы освободить... Я не сокращал, а писал наново, одолевая уже не жизненный, но художественный, добытый долгим трехлетним трудом материал. «Казенная сказка» — это поэтическая повесть. Понятно, что никакой поэтичности мне журнал не заказывал, да и не мог заказать. Но теперь и правда утрачивается понятие чистоты жанра и его важность как литературного открытия. Да и премия Букеровская плодит романы. Получается, что выдвигание на эту премию (а оно ведь ежегодное), не дав осмыслиться литературе, обобщает жанрово все заметно написанные произведения.

— Ты рассчитывал получить «Букера»?

— Нет, и боялся, что вдруг присудят. Я с трудом наконец ушел в новый большой замысел, а это было бы насильным разрушительным возвращением к прошлому. Но Владимов признал, что «Казенная сказка» написана не хуже, чем «Генерал», — и его признание мне было дорого, было моей победой. Далось оно ему с трудом, а не было эдаким рыцарским жестом, и потому Владимов — подлинный писатель, не играет он в благородство. Астафьев Виктор Петрович высказался, что читал повесть с восхищением, еще когда только опубликовали. И его-то два слова не дали заживо ее похоронить, оглушить, со счетов поскорей сбросить. Я не похваляюсь, нечем тут похваляться. Может, больше надо писать, чтобы поверили, а может, у нас людей, верующих в литературу, почти и не осталось. Пиши не пиши...

— А каково ощущать себя русским писателем в 25 лет?

— В молодости есть естественная сила, данная тебе с рождением. С возрастом приходит сила опыта, жизненного знания. Но так или иначе, в литературе есть только итоги. Если в том, что написано, ничего не свершилось, то и писателя нет. Если же свершилось — это есть уже итог, есть писатель, и неважно, что давало ему силу. Страшно только одно, и боюсь я одного — не успеть написать... Когда ты говоришь о двадцати пяти моих годах, я думаю, что в таком возрасте погиб Лермонтов.

Ярославль, зима 1996 г.